

Данилевский Н.Я.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО ПОВОДУ  
КОНСТИТУЦИОННЫХ ВОЖДЕЛЕНИЙ  
НАШЕЙ «ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ»

(Моск. Вед. 1881, 20 мая)

С некоторого времени все чаще и чаще стали появляться в наших либеральных журналах более или менее ясные и определенные намеки на то, что единственным действительным лекарством для уврачевания наших общественных зол и бед было бы введение у нас конституции по образцу просвещенных государств Запада. Намеки эти столь часто повторяются, что в части нашей печати, держащейся других взглядов, выражаемые этими намеками вожделения должны были быть разоблачены и опровергнуты. И я желал бы сказать по этому предмету несколько слов. Прежде всего, дабы избежать действительных недоразумений или умышленных уверток, надо точно определить, что разуметь под словом *конституция*. В общирном смысле оно обозначает государственное устройство вообще, и в таком смысле конституцией обладает и Россия. Но, конечно, не об этом идет речь. Всякому известно, что слово *конституция* имеет еще и другой, несравненно более тесный, но, по этому самому, и более точный, определенный смысл.

Под конституцией разумеется такое политическое учреждение, которое доставляет гарантию, обеспечение известного политического и гражданского порядка не только от нарушения его подчиненными агентами власти, но и самим главою государства. Конституция есть, следовательно, ограничение верховной власти монарха или, точнее, раздел верховной власти между монархом и одним или несколькими собраниями, составленными на основании избрания, или родового наследственного права. В этом ограничении, в этом разделении власти вся сущность дела: есть оно - есть и конституция; нет его - нет и конституции, и никакая гласность, никакие совещательные учреждения, при посредстве которых желания, потребности, нужды народа могли бы доходить до сведения верховной власти, конституции в этом смысле еще не составляют.

Конечно, я никому не скажу чего-либо нового, утверждая, что все осуществленные на деле и даже все мыслимые формы правления несовершены по самому существу своему, и что ежели каждая из этих форм, т.е. различные виды монархий, аристократий и демократий, обладают свойственными им достоинствами и преимуществами, то каждая из них имеет и свойственные ей недостатки; словом, что идеальной формы правления не существует, что поиски за таковою были бы поисками за философским камнем, вечным движением, квадратурой круга. Но этого мало. Если бы такая форма действительно существовала в теории, то на практике от нее было бы очень мало пользы, ибо вопрос заключается не в абстрактном существовании такого политического идеала, а в применимости его к

данному случаю, то есть к данному народу и государству в данное время, и следовательно, вопрос о лучшей форме правления для известного государства решается не политическою метафизикой, а историей. Я позволил себе написать эти немногие строки общих мест, *труизмов*, лишь для того, чтобы показать, что всякие рассуждения о пользе, бесполезности или вреде конституции для России, по меньшей мере рассуждения праздные, - что им должен предшествовать другой, гораздо более радикальный вопрос: возможна ли конституция в России? И отвечаю на него: нет, конституция в России совершенно и абсолютно невозможна, то есть нет власти и могущества на земле, которые могли бы ей даровать ее.

Во всех современных политических учениях более или менее ясно и открыто провозглашается, как политический идеал, принцип державности или верховенства народа. Для осуществления его на практике требуют всеобщей подачи голосов, которая действительно введена уже во многих государствах, и должна в непродолжительном времени ввестись и во многих других, например в Италии. Но и это, по справедливому, в сущности, мнению крайних демократов, не дает ни малейшего ручательства в том, что страна действительно управляет сообразно с желаниями большинства. Как очевидный пример противоречия образа действия правительства, избранного всеобщей подачей голосов, с желаниями этого большинства, может служить изгнание духовных орденов из Франции и атеизация французских школ, когда все деревенское население, да и значительная часть городского остаются приверженными к католицизму. Для осуществления на деле этого верховенства народа придумано новейшими радикалами учение о крайнем федерализме, не таком, какой, например, существует в Соединенных Штатах или в Швейцарии, где штат или кантон заключает в себе от сотни тысяч до нескольких миллионов граждан, а о федерации самых элементарных общественных единиц, т.е. общин. Немного размысления, чтобы убедиться, что и при таком общественном устройстве верховенство народа останется такой же фикцией, как и при всеобщей подаче голосов в больших государствах. Конечно, свои мелкие общественные дела народ будет в состоянии решать вполне самостоятельно, ежели угодно, державно - ведь это все дела такого рода, которые и теперь, при любом государственном устройстве, сам народ может решать и решает при правильно устроенном самоуправлении. Но дела более общего характера, обнимающие собою интересы целых групп общин и, наконец, всего федеративного государства, через это не упраздняются, и, по отношению к ним, масса народа будет столь же некомпетентна, как и теперь в любом централизованном государстве. Чтобы выразить свою волю, надо прежде всего иметь ее, а дабы иметь, надо обладать сколько-нибудь отчетливым мнением о предмете, относительно которого должна выразиться эта воля. И напрасно думают, что этого можно достигнуть просвещением народа. Просвещение это во всяком случае может быть только самым элементарным, а предметы политические, точно также как и научные, требуют образования обширного, требуют сосредоточения мысли, а это в свою очередь требует досуга, которого работающий на

фабриках, пашущий землю и вообще материально трудящийся народ иметь не может. Словом, державность и верховенство народа, понимаемые в смысле управления внешними и внутренними делами государства на основании воли народа, есть фикция, абсурд, нелепость, по той, уже вышеупомянутой, весьма простой причине, что для управления на основании воли народа по меньшей мере необходимо, чтобы такая воля была, а ее-то и нет и быть не может.

Но верховность народа имеет и другой смысл. В этом смысле она не составляет ни права, никакого-либо политического идеала, которого можно и нужно бы было стремиться достигнуть, а есть простой факт, всеобщий, неизбежный, неизменный, состоящий в том, что основное строение всякого государства есть выражение воли народа его образующего, есть осуществление его коренных политических воззрений, которых не лишен ни один народ, ибо иначе он и не составлял бы государства, да и вообще не жил бы ни в какой форме общежития, и ежели такое коренное народное политическое воззрение затемняется, утрачивается, то и государство им образуемое разлагается и исчезает: это не теорема, а аксиома, не требующая доказательств, истина сама по себе понятная.

Всякая идея, дабы осуществиться, перейти в действительность, в факт, должна иметь в подкладке своей силу для своей реализации, а где же искать эту силу для идеи политической как не в массе, не в совокупности народа, который по ней устраивается в государство и поддерживает его против всех внутренних и внешних врагов в течение своей исторической жизни? Все исключения, которые можно представить против всеобщности этого закона, только кажущиеся. Например, скажут, неужели Болгары, Греки и вообще вся христианская рапа составляющие большинство населения Европейской Турции, своею волей поддерживала Турецкое государство? Конечно, нет, но эти народы никогда Турецкого государства собою и не составляли, они были вне его, чужды ему во всех отношениях и удерживались в нем внешнею силой, точно так, как например, неприятельская армия удерживает в своем повиновении занятую ею страну. Тут внешнее насилие постоянно действовало в течение нескольких столетий, а не только в тот исторический момент, когда произошло завоевание. Само собой разумеется, что мы говорим не о завоевании, а о правомерном, самого себя поддерживающем государственном строе. Но бывают случаи, которые сильнее говорят против нашего положения, чем пример турецкой рапы. Несомненно существуют примеры, что в ином государстве распространено всеобщее недовольство не какими-либо частными отдельными правительственные мерами, а самым основным политическим строем его и, несмотря на это, он сохраняется и продолжает существовать многие и многие годы. Но не должно забывать - что однако же так часто забывается - что все так называемые политические, экономические и вообще общественные силы не самобытны, не непосредственны, как, например, силы физические, а могут действовать лишь через посредство индивидуального сознания, - а для того, чтобы достигнуть его, чтоб оно уяснилось и определилось, требуется очень и очень

много времени; а пока это не произойдет, старый порядок продолжает держаться по инерции, по привычке, и в этом случае все распадается при первом толчке, пришедшем извне или изнутри.

Можно представить и такое фактическое возражение. Если государственный строй есть выражение народной воли, то каким образом объяснить непрерывные перемены этого строя во Франции в последнее столетие, в течение которого различного вида и характера республики, империи и королевские монархии сменяли друг друга? Неужели народная воля могла столь быстро меняться, воля, которая имела даже возможность ясно и открыто себя заявлять и по-видимому заявляла себя? Иные думают даже, что некоторые из этих перемен, например, установление второй империи, было чистым подлогом, подтасовкой голосов. Мнение, очевидно, несправедливое; если и был в самом деле подлог, он мог простираться на сотню, другую тысячу голосов, с целью представить в большем блеске единодушие французской нации, а не на все миллионы действительно поданные в пользу Наполеона. Дело очевидно в том, что как отдельный человек, так и целый народ может потерять твердость, ясность и определенность своих убеждений, и результатом этого будет в обоих случаях шаткость всех поступков. С народом, как существом коллективным, может произойти еще и иное: убеждения народа могут потерять свою цельность, свое единство, разделиться так, что ни одно из них не будет иметь бесспорно преобладающей силы. Тогда, очевидно, то или другое из них будет брать перевес, смотря по случайным обстоятельствам. Это без сомнения и имело и имеет до сих пор место во Франции. Конечно Вандейцы, жители Бретани, имели в эпоху первой Французской революции весьма определенное и ясное политическое убеждение и выразили его в своем героическом восстании, но убеждение это было совершенно не то, которым было одушевлено население Парижа. После всех этих треволнений, в духе французского народа осталось твердым и незыблемым только одно политическое убеждение самого общего характера, то, что Франция должна быть независимою и сильною державой, - и это убеждение свое проявил он и в 1870 и 1871 годах, проявляет и теперь, не жалея никаких жертв на устройство своих вооруженных сил. Но затем, какая государственная форма должна быть усвоена этою, непременно сильною и независимою, Францией, это для большинства Французов стало неясным и неопределенным, а для тех, для кого оно и определено и ясно, для тех, кто имеет политические убеждения (верные или не верные, это все равно), они чрезвычайно различны.

Диаметральную противоположность с Французским представляет в этом отношении Русский народ. Его политические взгляды, его политическая воля до того ясны, определены и цельны, что даже их нельзя назвать взглядами, убеждениями и даже волей, потому что понятие воли предполагает выбор, оценку pro и contra. Политические взгляды и убеждения, государственная воля Русского народа составляют непреложный политический инстинкт, настоящую политическую веру, в которой сам он не сомневается и относительно которой никто, сколько-нибудь знакомый с

нашим народным духом, усомниться не может. Я позволю себе привести следующее место из моей книги *Россия и Европа*, ясно выражающее мою мысль:

"Нравственная особенность русского государственного строя заключается в том, что Русский народ есть цельный организм, естественным образом, не посредством более или менее искусственного государственного механизма только, а по глубоко вкорененному народному пониманию, сосредоточенный в его Государе, который, вследствие этого, есть живое осуществление политического самознания и воли народной, так что мысль, чувство и воля его сообщаются всему народу процессом, подобным тому, как это совершается в личном самосознательном существе. Вот смысл и значение русского самодержавия, которого нельзя поэтому считать формой правления в обыкновенном смысле, придаваемом слову форма, по которому она есть нечто внешнее, могущее быть измененным без изменения сущности предмета, могущее быть обделанным как шар, куб или пирамида, смотря по внешней надобности, соответственно внешней цели. Оно, конечно, также форма, но только форма органическая, т.е. такая, которая не разделима от сущности того, что ее на себе носит, которая составляет необходимое выражение и воплощение этой сущности. Такова форма всякого органического существа, от растения до человека; посему и изменена, или, в применении к настоящему случаю, ограничена такая форма быть не может. Это невозможно для самой самодержавной воли, которая по существу своему, т.е. по присущему народу политическому идеалу, никакому внешнему ограничению не подлежит, а есть воля свободная, т.е. самоопределяющаяся". (стр. 501)

Сомневаться, что таково именно понятие Русского народа о власти Русского Государя, невозможно; спрашивать его об этом бесполезно и смешно. Такой вопрос был уже задан ему самою историей, и ответил он на него не списками голосов опускаемыми в урны, а своими деяниями, своим достоянием и кровью. Было время, когда государство в России перестало существовать, когда была *tabula rasa*, на которой народ мог писать, что ему было угодно. Он по слову Минина собрался и снарядил рать, освободил Москву и вновь создал государство по тому образцу, который ясными и определенными чертами был запечатлен в душе его. Изменился ли с того времени этот постоянно присущий ему образ, и если б, избави Боже, ему пришлось вновь проявить эту свою творческую, зиждительную деятельность, не так ли же точно он бы поступил, как и в приснопамятных 1612 и 1613 годах? Пусть всякий вдумается в этот вопрос и ответит на него пред своею совестью, не кривя душой!

Но, при таком понятии народа о верховной власти, делающем Русского Государя самым полноправным, самодержавным властителем, какой когда-либо был на земле, есть однако же область, на которую, по понятию нашего народа, власть эта совершенно не распространяется, - это область духа, область веры. Может быть скажут, что тут нет никакой особенности Русского народа, что вера всегда и везде составляет нечто не подлежащее никакой

внешней власти, что всевозможные принуждения и гонения никогда не достигали своей цели. Но дело не в принуждениях и гонениях, а в том, что многие, в других отношениях высокоразвитые и свободолюбивые народы, не придавали такого первенствующего, наисущественнейшего значения внутреннему сокровищу духа, - так что предоставляли решение относящихся до него вопросов государственной власти, между тем как за малейшее право внешней, гражданской, или политической, свободы стояли с величайшою твердостью. Укажу лишь на пример свободолюбивой Англии, в которой, начиная с Генриха VIII, правительственные власти составляли догматы, литургию и обряды нового вероисповедания таким точно путем, как составляются всякие другие законодательные биллы. Таким путем состряпанное вероисповедание и есть англиканское, которое из рук правительства было принято тогда же большинством Английского народа, и теперь им удерживается. Рыцари наших прибалтийских губерний перешли из католичества в лютеранство - слыхал ли кто-нибудь о сопротивлении этому переходу со стороны Эстонского и Латышского народа? Да и во время реформации все исходило от владетельных князей, баронов, городов, а про народ в различных договорных актах того времени говорилось, что он должен следовать за своим сузереном и, действительно, он за ним послушно следовал. Надо ли указывать на то, что не так понимал и понимает дело веры Русский народ?

Я уже сказал, что и политический строй Русского государства составляет предмет настоящей политической веры Русского народа, которой он держится и будет, несмотря ни на что, твердо и неизменно держаться именно как веры. Если, следовательно, когда-либо Русский Государь решится дать России конституцию, то есть ограничить внешним формальным образом свою власть, потому ли, что коренная политическая вера его народа была бы ему не известна, или потому, что он считал бы такое ограничение своей власти соответствующим народному благу, то и после этого народ, тем не менее, продолжал бы считать его государем полновластным, неограниченным, самодержавным, а следовательно, в сущности он таковым бы и остался. Конечно, государь, подобно всякому человеку, может и должен себя ограничивать; но он не может сделать, чтобы это самоограничение, т.е. истинная свобода, стало ограничением внешним, формальным, извне обязательным, т.е. принудительным. В самом деле, в чем бы это внешнее ограничение заключалось, на что опиралось бы оно, когда народ его бы не признал и не принял? А он его не принял бы и не признал бы, потому что мысли об этом не мог бы в себя вместить, не мог бы себе усвоить, как нечто совершенно ему чуждое. Конечно, он исполнял бы всю повеленную ему внешнюю обрядность, выбирал бы депутатов, как выбирает своих старшин и голов, но не придавал бы этим избранным иного смысла и значения как подчиненных слуг царских, исполнителей его воли, а не ограничивателей ее. Что б ему ни говорили, он не поверит, сочтет за обман, за своего рода "золотые грамоты". Но если бы, наконец, его в этом убедили, он понял бы одно, что у него нет более царя, нет и Русского царства, что наступило новое

Московское разорение, что нужны новые Минины, новые народные подвиги, чтобы восстановить царя и царство...

Итак, внешнее формальное ограничение царской власти - что и составляет единственный смысл, который можно соединить со словом конституция - немыслимо и неосуществимо; оно осталось бы пустою формой, не дающею никаких других гарантий или обеспечений политических и гражданских прав, кроме тех, которые верховная власть хочет предоставить своему народу, насколько и когда этого хочет - как всегда от ее воли зависящий, и ни от чего иного не зависящий дар.

Для гарантий, для обеспечения прав, скажем прямо, для ограничения царской власти очевидно нужно иметь опору вне этой власти, а этой-то опоры нигде и не оказывается. Желаемая конституция, вожделенный парламент ведь никакой иной опоры, кроме той же царской воли, которую они должны ограничивать, не будут и не могут иметь. Каким же образом ограничат они эту самую волю, на которую единственno только и могут опираться? Ведь это nonsense, бессмыслица. Архимед говорил, что берется сдвинуть даже шар земной, но лишь под условием, что ему дадут точку опоры вне его. Только Мюнхгаузен считал возможным решить подобную задачу иным образом, вытащив себя за собственную косу из болота, в которое завяз.

Как же назвать после этого желание некоторыми, конечно весьма немногими в сущности, русской конституции, русского парламента? Как назвать учреждение, которое заведомо никакого серьезного значения не может иметь, как назвать дело имеющее серьезную форму, серьезную наружность при полнейшей внутренней пустоте и бессодержательности? Такие вещи на общепринятом языке называют мистификациями, комедиями, фарсами, шутовством, и русский парламент, русская конституция ничем кроме мистификации, комедии, фарса или шутовства и быть не может. Хороши ли или дурны были бы эта конституция и этот парламент, полезны или вредны - вопрос второстепенный и совершенно праздный, ибо он подлежит другому, гораздо радикальнейшему решению: русская конституция, русский парламент невозможны как дело серьезное, и возможны только как мистификация, как комедия. Придать серьезное значение конституционному порядку вещей в России - это ни в чьей, решительно ни в чьей власти не находится.

В наш век, очень обильный курьезами, мы видели уже в одном государстве пример такой конституционной мистификации, такой парламентской комедии. Шутовское представление было дано в Константинополе в 1877 году, после того как русские войска перешли уже через Прут. Сам устроитель его Мидхат дарователь - султан, участники - депутаты и зрители (публика эта впрочем была очень малочисленна, ибо едва ли кто из подданных султана удостаивал малейшего внимания отчеты, печатаемые в газетах, о дебатах стамбульского парламента), все, без исключения, знали, что устроена была мистификация и комедия. Впрочем, она имела еще некоторое оправдание. Мистификация была рассчитана не на

турецкую, а на европейскую публику. Даже нельзя сказать, чтоб и ее надеялись обмануть. Дело было предпринято с совета и согласия Англии, с мыслью, не удастся ли обмануть Россию, не отступит ли она пред упреками европейского общественного мнения в гонении свободных государственных форм, в гонении зарождающейся свободы. Но фарс был слишком груб. Россия пошла своим путем, и даже со стороны европейского общественного мнения упрека этого не последовало.

Но даже и этого жалкого оправдания не выпало бы на долю желаемой некоторыми Петербургской комедии. При чтении некоторых наших газет мне представляется иногда этот вожделенный Петербургский парламент: видится мне великолепное здание в старинном теремном русском вкусе, блистающее позолотой и яркими красками; видится великолепная зала вроде Грановитой Палаты, но конечно гораздо обширнее, и в ней амфитеатром расположенные скамьи; сидящие на них представители Русского народа во фраках и белых галстуках, разделенные, как подобает, на правую, левую стороны, центр, подразделенный в свою очередь на правый, левый и настоящий центральный центр; а там вдали, на высоте, и наша молниеносная гора, - гора непременно: без чего другого, а без горы конечно уже невозможно себе представить русского парламента; затем скамьи министров, скамьи журналистов и стенографов, председатель с колокольчиком, и битком набитые элегантными мужчинами и дамами, в особенности дамами, трибуны, а наконец и сама ораторская кафедра, на которую устремлены все взоры и направлены все уши, а на ней оратор, защищающий права и вольности русских граждан. Я представляю себе его великолепным, торжествующим, мечущим громы из уст и молнии из взоров, с грозно поднятою рукой; слышу восторженные: слушайте, слушайте, браво, и иронические: о-го! Но между всеми фразами оратора, всеми возгласами депутатов, рукоплесканиями публики, мне слышатся, как все заглушающий аккомпанемент, только два слова, беспрестанно повторяемые, несущиеся ото всех краев Русской земли: шут гороховый, шут гороховый, шуты гороховые!

Неужели пало на голову России еще мало всякого рода стыда, позора и срама, от дней Берлинского конгресса до гнусного злодеяния 1 марта, чтобы хотеть навалить на нее еще позор шутовства и святочного переряживанья в западнические костюмы и личины!

Мшатка

21 апр. 1881 г.